



Сергей Магид

РЕФЛЕКСИИ И ДЕРЕВЬЯ

Стихотворения 1963–1990 гг.



Сергей Магид

Рефлексии и деревья.

Стихотворения 1963–1990 гг.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9010741

Сергей Магид. Рефлексии и деревья. Стихотворения 1963–1990 гг.:

Водолей; Москва; 2014

ISBN 978-5-91763-226-1, 978-5-91763-227-8

Аннотация

Сергей Магид (р. 1947 г., Ленинград), в 1970–1980 гг. печатался в самиздате. В 1981–1988 гг. входил в ленинградское неформальное объединение поэтов, прозаиков и переводчиков «Клуб-81». В 1985–1990 гг. принимал участие в подготовке создания Ленинградского Народного фронта. В 1990 г. уехал из СССР. Живет в Праге.

Собрание стихотворений и поэм «Рефлексии и деревья» включает в себя ранние стихи и пять поэтических книг, написанных и подготовленных к печати в период 1970–1990 гг., но не изданных. Некоторые стихотворения и поэмы публиковались в ленинградском и рижском самиздате, в коллективном сборнике «Круг» (1985), в первой авторской книге «Зона служения» (2002) или были вывешены в Сети. Отбор их, как и последовательность их размещения, почти во всех случаях производились без согласования с автором, а редакторы считали

своим долгом «исправлять» «неточности» и «огрехи» так, как они это понимали, порой полностью искажая смысл написанного. Основной корпус поэтических текстов, создававшийся в течение более чем четверти века, затем еще почти 25 лет пролежал в столах, шкафах и чемоданах. В книге он заново собран и представлен практически полностью.

Содержание

Попытки	8
Бунт	8
«Что-то не так, гляжу, на этом свете...»	11
«Катитесь к чёрту, вы, педанты чёрствые...»	12
«Что надо мне в моей житухе рыжей?»	14
«Четыре стены...»	15
Вьетнам	18
Суд	21
Силезия	23
Пятый легион	25
Опыты	31
«Пять слов о поэтике...»	31
«Грядущего лик-дик...»	33
«Жизнь не исправить ни молчком, ни вслух...»	34
«Боже, спаси меня, грешного...»	35
«Я снова в чаше бытия...»	37
«Молчать и слушать – большего не надо...»	39
«Всё ясно нынче...»	40
«Над крышами сената и синода...»	42
«Теперь я слов твоих прошу...»	43
«Я теряю тебя...»	44
«Город унылых стад...»	45

«Утро. Четыре часа...»	46
«Бот мир, он кажется велик...»	47
«Я думал – жить. А эва-Ленинград!»	49
«Самой малой малости...»	50
«Всё что-то наобум, всё как-то не попад...»	52
Пять сонетов к одиночеству	53
«Опять ноябрь. До гробовой доски...»	58
«Два цвета – как печать дагерротипа...»	60
«Судьба есть место приложенья...»	61
«Так тянут корни, так сильна земля...»	62
«Я думаю о том, что потускнев...»	63
«На сборных пунктах ждёт металлолом...»	64
«Всё рассчитать, всё выверить в уме...»	65
«Быть может, я сумею выжить...»	66
«Меж станций время на одну затяжку...»	67
«Не изменяй своей судьбе...»	68
Два сонета из глубины	70
«Вот в садике опять набухли почки...»	72
«Шепотком живу, тихотком...»	73
«Суну-ка в зубы бычок беломорий...»	74
«Простые вещи дарят мне покой...»	75
«День прочитан почти до конца...»	76
«Для чего я, когда больному...»	78
«Зима прошла. Воспоминанья лживы...»	79
«Мой век – мой хлеб...»	80
Квартет 1966–1969	81

Возвращение 1969	85
Так мы живем	88
Баллада о встречах	96
Отец	98
Разрыв	100
«Меня так мало здесь, – а там и в самом деле...»	101
«Скорбящая сестра и мать-дева...»	102
«Разночинная ересь»	103
Плач языческой Литвы	105
«Не видеть бы мне и не слышать...»	111
«Дождь стоянкой стал над миром...»	112
Ленинградский пейзаж	113
Монолог соседа, старого большевика товарища Каца, во дворе дома по 4-й Советской улице	115
Посещение любимых родителей	118
«Покорная овца...»	120
«На окраине Бога...»	122
Окраина	124
Авиационная	124
Конец ознакомительного фрагмента.	125

Сергей Магид
Рефлексии и деревья.
Стихотворения
1963–1990 гг.

© С. Магид, 2014

© О. Сетринд, 2014

© Издательство «Водолей», 2014

Попытки Ранние стихи 1963–1969

Бунт

*...Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет...*

Н. С. Гумилев. Капитаны

[Начало утрачено]

...Трупы – за борт плодами спелыми.
Мясом слабых – акулы вскормлены.
Стали негры от соли – белыми.
Англичане от солнца – чёрными.

Бунт крадётся по нижней палубе
Согревая ножи за пазухой,
И скрипит в неумолчной жалобе
На спардеке штурвал несмазанный, —

Это смута – пальба да пагуба, —
Абордажные сабли – наголо,
И в крови цвета темно-алого
Захлебнулась верхняя палуба.

Только боцман и три помощника
Словно черти, врубилась ахово, —
И ценою в два медных грошика
Стала доблесть команды баковой...

А над нашей старой посудиною
Капитановый голос реял:
«Ставлю бочку голландских гульденов, —
Затанцует мятеж на рее!

Джигу спляшет в верёвке пеньковой
Тот, кто в тропиках жаждет глетчера.
Эй, помощник, над каждой стеньгою
По мерзавцу повесить вечером!»

И команда побитой сукою
Уползла в полутёмный угол...

Я проснулся. И с прежней мукою
О двучичье своём подумал.

Ни к тому, ни к другому полюсу
Не пришел я, шагая веком.
Пистолет не рвал из-за пояса

И с людьми не стал человеком.

*[Ленинград, Разъезжая ул.,
1963 г.]*

«Что-то не так, гляжу, на ЭТОМ свете...»

Что-то не так, гляжу, на этом свете.
А почему, не понимаю сам.
Зачем в песочнице играют эти дети?
Чтоб выросли, как мы, в ненужный хлам?

Когда иду я ночью, одинокий,
И дождь и ветер с силой бьют в лицо,
Весь мир, так страшно от меня далёкий,
Я вижу. Что в нем? Язва налицо!

Она же и во мне: Зачем я в этом мире?
Ведь я умру! Умрут отец и мать.
Зачем же быть,
Зачем опять в квартире
Вот это утро летнее встречать?

Что принесут мне эти утра в лете?
Чем кончатся грядущие года? —
Тебе никто на это не ответит,
Кроме тебя... Когда?..

*[Комарове,
июль 1964 г.]*

«Катитесь к чёрту, вы, педанты чёрствые...»

Катитесь к чёрту, вы, педанты чёрствые,
Кончайте нас скоблить под комсомольской лупой,
Ведь мы живые люди, мы не мёртвые,
Но вы нас видите какой-то массой глупой.

А мы-то умными считали вас и клёвыми,
Мы с обожанием смотрели в ваши рты,
А вы нам душу испоганили Обломовым,
Зачем он нужен нам, скажите, вы, кроты?

Я столько был послушным и прилизанным,
В те времена, когда я был сопляк, —
Но что с тех пор на мысль мою нанизано,
Не описать! Нет, это не пустяк.

Ужасно быстро пролетели годы детские
И вот сейчас – одиннадцатый класс.
В семнадцать лет я знаю эти мерзкие
Попытки влезть мне в ухо, мозг и глаз.

Ах вы считаете, что мы щенки наивные?
Нет, всё нам ясно! Всё, – на этот раз!
Давайте разойдёмся лучше мирно мы.

Мы вас не поняли и не понять вам нас.

[Ленинград,

23 сентября 1964 г.]

«Что надо мне в моей житухе рыжей?»

Что надо мне в моей житухе рыжей?
Чего хочу, о чём мечтаю я?
Вот если б бог со мною встал на лыжи,
Наверняка бы понял он меня.

Хочу немного я. Лишь то, что может сбыться.
То, что мы видим в книгах и в кино.
Хочу любви. Хотя б её крупицу,
А больше мне не надо ничего.

Последний год остался в этой жизни.
Последняя зима, а там, как знать...
Там, впереди, на лыжах прёт всевышний.
А я за ним, — догнать его, догнать...

*[Комарове,
зима 1964 г.]*

«Четыре стены...»

Майклу

Четыре стены,
Пол, потолок.
Окна и двери
Запертые.
И ты тут сидишь,
Как загнанный волк
И учителя ешь глазами.

И так каждый день
За годом год.
И десять лет
Пролетели мимо.
Какого же чёрта
Тяну я рот
В личине
Обманного грима?

Ведь я не Пиноккио
Не Арлекин
С картонной игрушечной пикой.
Учиться капустный
Гибрид получать
По вашей таблице безликой, —

Зачем это мне?
Да мне б не во сне
Жить наконец начать.

Да мне б сейчас в джунгли
Рубить каучук,
Резать на Кубе
Тростник сахарный,
Мне б на Аляску сейчас,
Где Чук
И Гек не бывали...
А тут вот – каторга...

Сижу за партой, —
Судьба надтреснута.
Весь понедельник
Зубрю Достоевского.
По четвергам логарифмы терплю.
И мне тыкают в морду,
Что я бездельник
Что жизнь меня съест
Как дезинфекция тлю.

А я и хочу
Этой жизни чёртовой,
Чтоб на палубе
Вертеться как белка,
Чтоб увидеть Везувия
Облик чётко

И чтоб в Африке жить
Как в своей тарелке.

Так какого же беса
Торчу я здесь?!
Пусть я мал,
Пусть сопляк,
Как думают многие.
Но ведь где-то жизнь
Настоящая есть.
И туда вот
Бегут мои ноги.

*[Ленинград,
зима 1965 г.]*

Вьетнам

По набережной озера в Чикаго
Гуляли каждый вечер
Вы вдвоем
С Мэри О'Хиггинс.
Перед тем – в Айдахо
Ты странствовал
Под солнцем и дождем.
Ты, в общем, был
Совсем обычным парнем,
Знать не хотел
Политики бедлам, —
Не пачкал руки в ней,
В её труде ударном.
Таких парней
Полно и здесь и там.
Любил шататься ты
По разным штатам,
Ещё любил
Армстронга и вино,
А если гибли вдалеке солдаты,
Ты говорил:
«I fuck it! Всё равно».
Ты в это время,
С обществом не споря,
Желанья Мэри

С губ читал, а сам
Знать не хотел,
Что есть на свете горе,
Напалм и смерть
И, как его... Вьетнам?
Да ты плевал
На всякие там страны,
Пока с тобою Мэри, —
Всё – о'кэй!
Когда твой кореш
Умирал от раны,
Еще ты нежно
Гладил руку ей.
Но срок пришел
И с тысячью другими
Ты форму получил,
К плечу – приклад,
Десятками смертей
Подсумок твой набили
И в бой пошел ты,
Сам тому не рад.
А через месяц
Та О'Хиггинс Мэри, —
Она была тебе
Милей всех жён, —
Прочла, что на десятой параллели
Ты пулей партизана
Был сражён.
Упал ты в воду рисового поля,

И соскользнул с плеча
Ничей приклад.
За что погиб ты
И в какой ты роли
Шел в этот бой,
Сам этому не рад?

[1965 г.]

Суд

На суд суровым северным богам,
Короткий, верный,
Я отдаю судьбу и к их ногам
Слагаю нервы.
Весь нажитый сознанием здешний мир
Я им дарю. Лишь не дарю свободы.
Свои сомненья, близнецы-уроды,
Ташу с собой на их кровавый пир.
Пусть рвут они, блаженно матерясь,
Мое, еще сознательное, мясо,
Я буду честен, трепеща, боясь,
Но мысль не пряча под защиту масок.
Пусть лучше Вотан или Тор, иль Один
Меня угробят. Смерти чистый дар
Достать честней, чем в общем хороводе
Овцой влачиться под удар
Родных бояр. Вливанье в ухо яда, —
Дней и собраний пошлый звукоряд.
Во имя утопического сада —
Выкорчевание, почти святой обряд.
Я принимаю и не принимаю
Их вызов. С проспиртованных мужей
Что взять-то? А иных не знаю, —
То псы вокруг, то ползание ужей...
Но я, я подчиняюсь Высшей Воле.

Кто может здесь понять мой дух и нрав?
Вот только сердце корчится от боли,
Совсем пропав.

*[Южный контрольно-пропускной пункт на лесной дороге
между Лугой и Псковом, в/ч Z
весна-лето 1968 г.]*

Силезия

Марине

Набухают дожди под широтами норда
И в Силезии льют с желобов.
Я стараюсь казаться неприступнейшим лордом,
Но забыть не могу твоих слов.

За бортом транспортёра тонут мутные липы,
Мокнут тени славянских берёз,
Этот дождь – наказание, эти капли как всхлипы
На стекле, как дорожки от слёз.

Этот дождь бесконечный, он измучил мне душу,
Как «Титаник» в нём тонет мой мозг,
Только память голубкой бросаю наружу
Чтоб искала к спасению мост.

А потом, отрешённый от людей и от мира,
Уношусь бестелесен в иные края,
Хоть всегда бесполезно творю я кумиров,
Хоть меня не оставит обречённость моя.

Только всё же прошу, не забудь, подожди,
Точно Симонов, видишь, рифмую: «дожди!...»
Пусть в Силезии ад, пусть для местных я гад,

Наплевать, впереди – Ленинград...

*[Лесная дорога в Чешской Силезии между Опавой и Оломоуцем,
в/ч У*

поздняя осень 1968 г.]

Пятый легион

Пролог

Взрыв в пустыне – солнце Иудеи.
Рёв песков. Удар гамма-лучей.
А внизу – паломники идеи
В Ершалаим бредут, уже ничей.

I

Вой шакалов. В одиноком стане
Пастуха – проклятие и стон.
Сердце иудея камнем станет,
Камнетёсом – Пятый легион.

Беспощаден строй легионеров.
Их орлы впиваются в штандарт.
Им чужды ораторов манеры.
Смерть им равно и сестра и брат.

Пробиваясь к Триумфальным аркам,

Перейдя навеки Рубикон,
Свой удел доверив только Паркам,
Иудею топчет легион.

II

Над землей вставал рассвет хрустальный.
Редкий зеленел ковёр долин.
Билось гулко в синеве кристальной
Сердце мира – Иерусалим.

Осенённый Божеским знаменьем,
Слово Бога превратив в Закон,
Он смотрел без страха и с презрением
На внизу шумящий легион.

Храм гремел и падали левиты
На колени, талесом накрывшись,
Слали Ягве страстные молитвы
И на бой шли, вдосталь помолившись.

Было всё – и гордость и смирение,
Плач мольбы и яростный отпор.
Видно, проклял Бог Свое творенье,
Свой народ обрёк он на позор.

III

Пятый легион ворвался в город,
Разметав по камням цитадели.
Всех, кто был там, стар он или молод,
Легион распял, прорвавшись к цели.

Но в конце неравной подлой битвы
Пред глазами яростных когорт
Храм восстал, – как будто бы молитвой
Принесен от Эдемских ворот.

Золото, сапфиры и агаты,
Изумруд, смарагд и сердолик.
И стояли римляне, объаты
Ужасом, что в сердце им проник,

Перед силой и умом народа,
Чью столицу Рим завоевал.
И подумал каждый, что свободу
Вряд ли Риму этот край отдал.

IV

Ненависть лишь ненависти снится.
Бедняку завидует бедняк.
Дурака преследует тупица.
Свет со светом борется за мрак.

Не понять художникам – искусства.
Мастеров – пугает мастерство.
Там, где храмы были, ныне – пусто.
Лишь кустарник шелестит листвою.

V

И центурион смеется криво.
Что ему до иудейских слёз.
Видел он афинские оливы,
Аромат вдыхал дакийских роз,

Он прошел Иберию и Спарту,
Гордость галлов растоптал в грязи,
В пыль поверг сирийскую Астарту,
Покорил и бриттов и грузин.

Что там храм, красивая безделка.
Бог врагов не должен больше жить,
Раз не может быть он с Римом в сделке,
Раз не может цезарю служить.

Факел чёрно-алый, просмолённый
Римлянин швырнул на алтари
И воскликнул, боем ослеплённый:
«Сгинь, гнездо обрезанных, сгори!»

VI

Старый Шолом-Бер из Галилеи,
Для того ль ты строил этот храм,
Чтоб пошли бездомные евреи
По чужим неведомым краям?

С тех веков далеких и поныне
Слышу в сердце обречённых стон.
Мой народ и древние святыни
Вечно топчет Пятый легион.

Эпилог

Так же светит солнце Иудеи.
А вокруг – нет спасу от зверей.
Но бредут паломники идеи
В Ершалайм, – там снова жив еврей.

[начато в 1967 г, во время Шестидневной войны, в пустыне Астраханской области, в эшелоне по дороге в Капустин Яр, закончено в 1969 г., в кочегарке в/ч XYZ, незадолго до дембеля]

Опыты Первая книга стихотворений 1970–1981

«Пять слов о поэтике...»

Пять слов о поэтике:

Бога ради,
не надо патетики,
слёз, проклятий.

Не надо глубоких
как омут, мнений.

Не надо экстаза
шальных откровений.

Тем более, праведных
обвинений.

Чего уж там, хватит
и просто дня.

В нем есть всё, что надо.

Кроме меня.

1970

«Грядущего лик-дик...»

Грядущего лик – дик.
Сегодняшний день – пуст.
Случаен любой миг.
Напрасен любой Пруст.

А мир, как всегда, – глух,
Слеп, замечает след,
Нем, невесом, – пух
Весомей, чем этот свет.

Ну, где он, Тристан? – Прах.
Изольды костяк? – Пыль.
Героя несёт в штанах
Больной мочево́й пузырь.

Сизиф? – Тот еще жив,
За камнем пошел вниз, —
Творить свой дурацкий миф,
То есть чей-то каприз.

1970

«Жизнь не исправить ни молчком, ни вслух...»

Жизнь не исправить ни молчком, ни вслух.
Желтеют листья в ней, течет ручей.
Смешное тело в ней, тщеславный дух,
И каждый миг её ни твой, ни чей.
И где концы её, не разберёшь.
На землю падает январский снег.
Сто тысяч лет ему и хошь не хошь,
Он так же холоден, как человек.
А слов не найдено и где отвес,
Чтоб выверить всю эту пустоту
Вокруг, в которой веселится бес,
Крича: «Поэт? – Ату его, ату!»,
Вопя и воя над чужой рекой,
Где не свернуть и не найти пути,
Где можно лишь вот так себе идти,
На жизнь махнув,
На жизнь махнув рукой...

1972

«Боже, спаси меня, грешного...»

Боже, спаси меня, грешного.
Боже, я так изолгался.
В омуте царства क्रешного
каплей воды притворялся.

Господи, это сознание
малости, капли, кружения
стало моим, да и ранее
чувство кораблекрушения

жило во мне. Словно камешек
шел я ко дну. Нынче вечером,
Господи, дай мне хоть краешек
неба увидеть. Мне нечего

ждать. Ни друзей, ни радетелей.
Весь я – унынье и жалоба.
Есть ли Ты, Господи, есть ли Ты?
Господи, видишь ли малого?

Если Ты рядом, то выслушай.
Если вдали, дай знамение.
Слёз моих озеро высуши,
Плачей моих наводнение.

Боже, кощунствую в немощи!
Видишь, я весь потерялся.
Висельник царства кромешного,
Я ведь живым притворялся.

Вот я, один, без свидетелей,
капля Твоя, но немилая...
Есть ли Ты, Господи, есть ли ты?
Если Ты есть, то помилуй мя...

1972

«Я снова в чаше бытия...»

Я снова в чаше бытия
Лишь капля боли.
Учусь искусству забытья
Своей неволи.

Не знать, не помнить, не искать
Начал паденья.
Боюсь и другу доверять
Свои сомненья.

Опять в сентябрьские дожди
Иду как в рабство.
Так встарь побитые вожди
Сдавали царство,

Чтобы под белое в разлив,
Разлив забвенья, —
Не вспоминать излишний миф
Об избавленьи.

Пока идет процесс литья,
Закалка стали, —
Сгорает в домне бытия
Тростник Паскаля.

«Молчать и слушать – большого не надо...»

Молчать и слушать – большого не надо.
Склоняться сердцем к музыке стихов.
Твои следы искать в аллеях сада,
Себя искать в сумятице веков.

Дышать и думать – этого довольно.
Всё остальное – можно стороной.
В пустое небо над собой
Подымешь голову невольно

И видишь двух ворон чуть к северу от юга,
И слышишь «невермор», а не курлы-курла,
Опустишь голову, – а верная подруга
Уже сажает из горла...

1972

«Всё ясно нынче...»

Всё ясно нынче:
Жизнь так прекрасна
И чисто, ясно
Звучит хорал.

Но как ни странно,
Мир так же болен
И тих и тёмн
Ночной канал.

И так же, в общем,
Заходит солнце,
Восходит солнце
И верь, не верь, —

По переулкам
Всё так же бродишь,
И не находишь
Ни дом, ни дверь.

Лишь звук органа
В полночной мессе
В даль поднебесья
Порою путь

Укажет. Ладно,
С крестом, с кастетом, —
Речь не об этом,
Не в этом суть:

Найдешь опору
И в то же время
Свободы бремя
Отбросишь прочь, —

Но только после,
От сна очнувшись,
Вновь, оглянувшись,
Увидишь ночь.

А так, всё ясно, —
Жизнь не напрасна,
Когда так классно
Звучит хорал.

Но лучше, право,
Сей мир-отрава,
И Богу слава,
Что есть канал.

«Над крышами сената и синода...»

Над крышами Сената и Синода
С утра натянут равнодушный холст.
С него стекает дождь на серый мост.
В квартирах никакое время года.

Вода в реке, наполнена водой
с небес, когтями брызг скребёт граниты
тюремных стен. Ворота приоткрыты.
Острог сыреет, временно пустой.

Всё моросит. Срываются с карнизов
разрывы капель. Воздух населён
селёдкой с пивом. Серый как бетон,
летает бес меж куполов и фриз.

Всё то же небо, те же колера
над крышами Сената и Синода —
всемилоливо нам даны: свобода,
Суворов, Пушкин, русское ура,
огромное, как мать вчера,
и хер на месте небосвода.

«Теперь я слов твоих прошу...»

Теперь я слов твоих прошу
Как подаянье.

Как в тайну тайн теперь гляжу
В твое молчанье.

Жду хоть улыбки на губах
И, будто болен

Я этой памятью, во снах
Кричу – виновен!

Виновен в том, что потерял,
Что был спокоен,

Что жизнь на слухи разменял,
Во всём – виновен.

1972

«Я теряю тебя...»

Я теряю тебя,
Не успев обрести.
Опасаясь любить,
Не хочу отпускать.

Лишь слова теребя,
Повторяю «прости...»
Не умея забыть,
Не могу укорять

Ни друзей за смешок,
Ни себя за разлад.
Мне бы легче не быть.
Мне любить тебя лень.

Я, наверно, смешон,
А они говорят:
«Кто боится любить,
Превращается в тень».

1973

«Город унылых стад...»

Город унылых стад
Как из банки сардинку,
Дождь попивая в такт,
Варит меня под сурдинку.

Тих. Безоружен. Мал.
Гол. Переварен до мозга.
Сзади – дворов провал.
Прямо – судьба из воска.

Вечер. Вползаю в дом.
Сплюнут. Изжёван. Втоптан.
С той же, как дядя Том,
Кожей убитых оптом.

1973

«Утро. Четыре часа...»

Утро. Четыре часа.
Капает серенький дождь.
Веришь ли ты в чудеса,
Маленький выродок-вождь?

Ты ли мятеж возгласил
С форума, славен вовек?
Ты ли триумфа просил
Из-под опущенных век?

Ты – позабыл и сменял
Войско, народ и сенат
На выпивоны менял,
Маленький бука-легат.

Кто ты? Куда ты? Зачем?
Брось, не ершись, дурачок!
Нечего плакать. Ничем
Не выделяйся... молчок...

1973

«Бот мир, он кажется велик...»

Вот мир, он кажется велик,
а он, как девственница, мелок,
и в нем, как некий недомерок,
ничей пульсирует язык.

Его бы выманить сюда,
ему бы дать обозначенья,
но как застывшая вода,
он пребывает без движенья.

И я не в силах превозмочь
мою больную безъязыкость:
какая выпретенная дикость —
пытаться выговорить ночь.

И речь в дешевые ходы
уходит, в трюки и намеки.
Сплошным синонимом беды
Становятся её упрёки.

А мир по-прежнему молчит,
не выдавая тайну слова.
И вместо говора живого
Сухая проповедь звучит.

«Я думал – жить. А эва-Ленинград!»

Я думал – жить. А эва – Ленинград!
Хрустит ноябрь, по лужицам ломаясь.
Писатель, в коммуналке маясь,
Скрипит пером, описывая сад.

Там человек в снегу. Пал? Перепил?
Теперь бы вспомнить, как там было летом,
Пока февраль костлявым пистолетом
Стучит в окно, страдая без чернил.

Но нет чернил. И крови нет. И жизни.
И друга нет. И даже нет врага.
Ты мне не веришь? Ну-ка, свистни,
Увидишь, – нету ни фига.

1974

«Самой малой малости...»

Самой малой малости
Выпросишь едва ли,
Шуточки да шалости
Льдинкою в бокале.

Вечером стаканчики,
Сдвинутые в ряд.
Мысли-одуванчики
К ночи облетят.

Хохмочки да сплетенки —
Весело и смело.
Мысли-перманентики
Завиты умело.

Доводами давними
Выдуманных слов
Скрыты, как за ставнями,
Душу — на засов.

Молодость проносится
Винною отравой.
Загнана околица
Городом-облавой.

Речи медоустые
Стряпают кисель.
Кружится без устали
Ваша карусель.

1974

«Всё что-то наобум, всё как-то невпопад...»

Всё что-то наобум, всё как-то невпопад
Я делаю теперь, а, впрочем, как вчера, —
По-прежнему боюсь кружков, дружин, бригад
И в одиночество смотрюсь по вечерам.

И чистая вода, — уменьше детских лет
Разгадывать людей, — сквозь пальцы утекла.
Я был когда-то здесь. Меня здесь больше нет.
В Разъезжей улице у Пятого угла.

1974

Пять сонетов к одиночеству

I.

Я слышу всё одну и ту же фразу.
Всего глупей, что даже и во сне,
уподобляясь вражескому джазу,
мой слух импровизирует во мне.

Зачем Господь даёт сначала память,
а не склероз? К чему сей диамат?
Шесть слов как будто нищему на паперть
ты бросила, – вот объективный факт.

И по ночам, днём, утром, час за часом,
от мозга моего неотделим,
то глухо, как придавленный матрасом,
то как в казарме, пьяный в пух и дым,

твой голос повторяет раз за разом:
«Мне тяжелей, – ведь я лгала двоим...»

II.

«Мне тяжелей, – ведь я лгала двоим...»
На насыпи завывла электричка
и где был Крым, там сразу стал Нарым,
и навалилась ночь-алкоголичка.

Я всё еще пытался по привычке
пробить с налёту штукатурку слов,
грыз кирпичи, перебирал отмычки, —
но был из победита их покров.

А в поле за последними домами,
где обрывался гад-микрорайон,
уже клубился дым, уже тенями
он наползал на нас, он был как сон,

в котором задыхался я ночами
десятки раз, предчувствием смятен.

III.

Десятки раз, предчувствием смятен,
во сне я видел наш последний вечер

и гад-микрорайон. И он и он
как Бегемот мне прыгали на плечи,

и зажигал фаллические свечи
знакомый мне по пьянкам сукин сын
и начинались поцелуи, речи
каких-то несоветских образин,

и снилось мне, что твоему отказу
я отвечаю залпом в абажур,
где то ли Бегемот, то ли Амур
качается, в меня швыряя вазу,

и каждый раз кончался этот сюр
дурацкой фразой: «Коли так, то – сразу...»

IV.

Дурацкой фразой: «Коли так, то – сразу...»
я бредил наяву. Я думал, я помру.
Как ржавый флюгер утром на ветру
над бездной улиц, полных диабаза,

я скovyрнусь, – и книзу головой.
И эту жизнь с ее пустыми днями,
чтоб ног твоих не вспоминать плечами,

я разобью о камни мостовой.

И вот – свершилось. Злее час от часу
меня терзает голос дорогой.

Но в общем-то я всё еще живой,
еще хозяин и душе и мясу,

и буковок я не рассыпал строй,
но взяв в ладонь, поднёс поближе к глазу.

V.

Но взяв в ладонь, поднёс поближе к глазу
я дуру-мысль о дезертирстве в ночь
и повертев, её отбросил прочь
и сапогами затоптал заразу.

Лишь память не сумел я превозмочь.
Тут все мои старания ни к чёрту.
Слова твои во мне еще не стёрты.
Особенно, когда приходит ночь...

Ну ладно, значит снова без тебя.
Днём. Утром. Вечером. Все чаще. Все привычней.
Вот одиночество, дружок мой закадычный,
меня приветствует, по комнате скрипя

пустыми половицами. Надёжно
его присутствие. Ну ничего, жить можно.

1975

«Опять ноябрь. До гробовой доски...»

Посвящается Г. Г.

Опять ноябрь. До гробовой доски
видать, со мной пребудет это царство,
здесь, где вступают бывшие Пески
в Советских улиц полое пространство.

Как горек воздух в этом ноябре!
Мой квази-эго, надоевший Кастор,
по-менторски гундосит о добре,
о разной стоимости в табеле о кастах,
о том, что жизнь я понял не вполне,
а я, как зверь на перебитых лапах,
(ни ног, ни речи, – скованный вдвойне)
жду, чем всё это кончится.
Напрасно,
должно быть, жду.

Порой, надев пальто,
спускаюсь вниз, во двор, на воздух, в стих, —
эй, кто-нибудь! хоть кто-нибудь, хоть кто...

Мне говорят в ответ: «Не видишь, псих,
мы заняты – играем в спортлото,

не с кем-нибудь, с прядильщицей Клото
и с Атропой киряем на троих».

О Мойры, Мойры, чью судьбу вы длите,
зачем не дефицитны ваши нити?

1976

«Два цвета – как печать дагерротипа...»

Два цвета – как печать дагерротипа:
снег за окном и тёплый мрак объятий.
Не пискнет мышь. Мышь не выносит скрипа.
Да вот часы всё тикают некстати.

И ничего в измятой колыбели,
где начиналась жизнь неоднократно,
не начинается. Лишь гири как качели
елозят по стене туда-обратно.

1976

«Судьба есть место приложенья...»

Судьба есть место приложенья
нам чуждых, непонятных сил:
одна суёт нам жизни пыл,
другая – смерть без напряженья.

Та, первая, нас тащит к Богу,
к бессмертью, к вечности (зачем?),
вторая тянет в быт, в берлогу,
чтоб снова тихо стать ничем.

Одна сулит пустую славу
и никому не нужный бой,
другая – сладкую отраву:
диван со сплином и покой.

Две силы, две никчёмных страсти
наш ум убогий рвут на части.

1976

«Так тянут корни, так сильна земля...»

Так тянут корни, так сильна земля
и глубина, и тяга к той основе,
где разум – грех, где воплощение воли —
зачать боль и рук твоих петля,

так бродит кровь, так набухают вены,
так, кажется, я вознестись готов,
но снова крики первых петухов
дневной моей судьбы возводят стены,

в которых гибну я, как гибнет в чаще,
без слов и слёз, глядя на сладкий плод,
мой предок, в бесконечность уходящий, —

о мать моя, природа, мой оплот,
я блудный сын твой, о тебе скорбящий,
кто бросил дом и к дому не придёт.

1977

«Я думаю о том, что потускнев...»

Я думаю о том, что потускнев,
твои глаза влекут ещё сильнее,
что тем слышней, чем кажется слабее,
твоих укоров тихий перепев.

Я думаю о том, что не созрев,
любовь тем краше, ближе и роднее,
дороже сердцу, памяти милее, —
как псу гоньба, как пахарю — посев.

Я думаю о том, что овладев,
мы вновь находим яблоко и змея
и вот тогда теряем рай вернее,
чем речь душа теряет, оробев.

1977

«На сборных пунктах ждёт металлолом...»

На сборных пунктах ждёт металлолом.
Дёрн с железяками звереет под ногами.
А мы – из плоти. Бот он, здешний дом.
А тот, нездешний, носим за плечами.

Здесь – нашу жизнь царапают везде
На потолках пещер живые руки.
А там мы – круг, бегущий по воде
Из точки, где словами стали звуки.

1977

«Всё рассчитать, всё выверить в уме...»

Всё рассчитать, всё выверить в уме
и отвести пружину до отказа.
Ствол оттянуть, чтобы уже ни разу
не просыпаться по утрам в тюрьме.

Всё потерять, всему свести итог,
увериться, что бытие как свечку
пора гасить, – и отпустить курок.
И возродиться, услышав осечку.

1977

«Быть может, я сумею выжить...»

Быть может, я сумею выжить
и прежде, чем совсем не быть,
смогу слова Твои услышать
и двери настежь открыть,

и оказаться за границей круга,
за мастью желаний и житья,
где нет уже ни города, ни друга,
но только ветер бытия...

1977

«Меж станций время на одну затяжку...»

Меж станций время на одну затяжку.

Припоминается какой-то странный
урок математического быта
с условием: платформы А и Б,
а между ними только вдох и выдох.

Но в пункте А всё вдребезги
и там
на землю постепенно оседают
лишь отзвуки уже не нужных слов.

А в пункте Б свет выключен
и двери
закрыты изнутри
и слов не нужно.

Отдёргиваешь пальцы, чертыхаясь.

1977

«Не изменяй своей судьбе...»

Не изменяй своей судьбе,
не отменяй себя в угоду
ни ясновидцу, ни народу,
ни богачам, ни голытьбе,

не будь рабом своих удач
и не меняй беду на водку,
когда другие мчатся вскачь,
не торопись менять походку,

но просто набери воды
из родника, похолоднее,
в засушье, посреди беды,
наполни вёдра повернее

и сквозь пустыню, напрямиком,
иди, пока ногам идется,
шагай неожиданным родником
для всех, кто из тебя напьется,

и даже чуя хрупкость плеч
своих под тяжким коромыслом,
когда молчания и смысла
совсем твоя лишиться речь,

держись, не смей себя ронять,
но груз вдавив в больные плечи,
единственной не потерять
старайся поступи и речи,

не изменяй своей судьбе,
не отменяй себя в угоду...

1978

Два сонета из глубины

I.

Из глубины к тебе взываю, Боже!
Зло от добра я отличить бессилён.
Любой прохожий жутко агрессивен,
хоть на Твоё лицо его похоже.

Мы все уходим постепенно в темень.
Нас заменяют вкрадчиво и чётко.
Растет репейник. И к компоту – ревень.
Зато Рылеев станцевал чечётку.

Всё бытие вмещается в газету.
Слова темны. Определенья ложны.
Что ту дорогу выбери, что эту,
все как одна, в итоге невозможны.

Прозрения редки и так ничтожны!
Клопы и тля едят Твою планету.

II.

Из глубины к Тебе взываю, Боже!
Смысл этой жизни мне дороже страха.
Из глубины смирения и праха
позволь восстать, хоть это и негоже.

Мне скучен Божий Сын как ждать трамвая,
пусть я в грехе, в языческой проказе,
но больше не могу любой заразе
я щёки подставлять, её прощая.

Для хилых духом сон – успокоенье.
Для сильных явь – мучение на вилах.
Ты создал хилым наше поколение.
К чему такой переизбыток хилых?

Но я, Господь, – вот главное сомненье, —
зло от добра я отличить не в силах.

1978

«Вот в садике опять набухли почки...»

Вот в садике опять набухли почки.
Идёт весна. И я иду гулять.
Что делать мне или с чего начать?
А в воздухе всю порхают строчки

поэзии полей, поэзии для фин
инспектора и прочая бодяга,
но тут, гляди, кончается бумага
печатная, – и ни тунгус, ни финн

меня не прочитают.

Не берусь
судить леса. Им жить. Я понимаю.
Иду гулять, бутылки собираю
и пробки вынимая, так же бьюсь

над узким горлышком, как и любой поэт.
Но не пускает чёртov силуэт.

1978

«Шепотком живу, тихотком...»

Шепотком живу, тихотком,
утром глянешь в дверь: одиноко
ходит по полю, коготком
раздвигая траву, сорока.

Вместе с ней мы таскали дни,
и, как Осип заметил, – воздух,
да и всё, что запретно, и
избегали Господних розог.

Но сегодня, как та петля
самолетная, вполовину
жизнь откручена и поля
и сороки мне кажут спину.

Повторяешь: спина, – «хана»
разумеешь, а жизнь всё длится,
в ней все пуще шумит трава
да сорока все чаще снится...

1978

«Суну-ка в зубы бычок беломорий...»

Суну-ка в зубы бычок беломорий,
сердце зажму в кулак,
к чёртовой бабке «мemento мори»
послав, завалюсь в кабак.

С корешем дёрну стопарь гранёный,
после – хоть пулю в рот.
«Шеф, подвези!» старику Харону
крикну – пускай везёт.

Знаю заранее: пей, как сапожник, —
шанец не подфартит.
Разве что сдуру поймаетшь ножик
в бок, коли лыком шит.

Ох, не по делу меня заносит,
не перейти порог.
Что там еще, изголясь, подбросит
фрайер по кличке «Бог»?

1978

«Простые вещи дарят мне покой...»

Простые вещи дарят мне покой:
дощатый стол, окно в три переплёта
и мартовская серая погода,
и лист бумаги под моей рукой.

1978

«День прочитан почти до конца...»

День прочитан почти до конца.
Скоро полночь, – и книга закрыта:
монолог от чужого лица
у родного корыта.

День уходит и в полутона
всё окрашено: вечер сыреет,
город молча стоит у окна
и в окно фонарями глазеет.

Вот луна осторожно вошла
и к лицу прикоснулась,
помаячила, не дыша,
и назад отшатнулась,

прихватив и меня по пути,
чтоб не сбиться со счета
в эту ночь, где концов не найти,
где надежда мертва, как пехота,

окружённая в голой степи
и поднявшая медленно руки...
Зубы стисни и душу скрепи
и читай свою книгу разлуки.

1978

«Для чего я, когда больному...»

Для чего я, когда больному
Нужен врач, а не виршеплёт:
Без фундамента – гибель дому,
А без флюгера – проживёт!

Для чего, если жизнь как обод.
Слово – белка в нём. И внутри
Этот обод лишь там разомкнут,
Где прыжок... эх, – на раз-два-три...!

Для чего, – если все уходят, —
прозаически – ни во что,
и меня самого проводят
тоже как-нибудь в то ничто?

Для чего я...

1978

«Зима прошла. Воспоминанья лживы...»

Зима прошла. Воспоминанья лживы, —
в них лишь слова, убогие как тень:
отмечено, что был такой-то день,
что были мы, точнее – были живы

и что-то говоря, куда-то шли,
и часто ссорились, и редко утешались...
В подъезд холодный листьев намели
чужие дни и с нашими смешались.

Остался нам лишь привкус той зимы
Или скорее – прикус, бьющий болью.
Любовь, – как рану посыпая солью, —
снег засыпал.

Его любили мы.

1978

«Мой век – мой хлеб...»

Мой век – мой хлеб. На нём, как плесень, искушение —
сменить в конце концов и хлеб и этот век,
пока не затянул на стебелёчке шейном
арканную петлю прохожий человек.

Любой из них, любой из проходящих мимо,
потомок степняков и местной голытьбы,
мой азиатский брат и восприемник Рима
готов служить мечом дамокловой судьбы.

О, мой насущный век, грызу, – крошатся зубы,
Да что там зубы, – жизнь крошится день за днём.
Так короток мой бег. Слова людей так грубы.
Невмоготу мне жить в отечестве моём.

1979

Квартет 1966–1969

I.

В тот год я приучал себя к смирению
и свойства тростника практиковал,
не доверял ни слуху, ни везенью,
лишь собственному зренью доверял

и очень смутно видел ваши лица, —
как будто сквозь многозеркальный ряд
лицо возникнет, удесятерится
и растворится, отойдя назад.

Я жил тогда в озёрной глухомани,
корявым был моих соседей слог,
бок о бок впрягшихся в чужие сани, —
я тоже был готов подставить бок,

но в чей-то локоть вечно упирался
и в тот четверг, я помню, что устал
и прочь пошел и на гору поднялся,
и глянул вниз, и воду увидал.

II.

Там озеро лежало без движенья
и сверху я заметил в глубине
летящее косое отраженье,
знакомым показавшееся мне,

я поднял голову и обомлел, раскаясь,
что весь открыт и сам, как на беду, —
а он, ногами леса не касаясь,
уже оглядывался на лету

и медленно кивнул, — и сразу темень
пошла валиться вниз, седлая лес,
навстречу ей, затрепетав, поочередно зелень,
воздух, всё потянулось, чернея, было без

четверти десять, холодом подсвечен,
вылез луны скуластый круг.
Я оглянулся: вечер
уже не выпускал меня из рук.

III.

Ладно, я вытер лоб пилоткой
и на траву исподнее сложил,
еще чуток пересидел за лодкой,
и втихаря знаменье сотворил,

щепотью обеда, хотя б снаружи,
лоб, плечи, пуп, – и в омут, с головой,
и вынырнул, – порядочно от суши,
вернее от одной её шестой,

где всё сбылось, но как-то так, печально,
всё шло путем, но задом наперед,
а ночь вверху была так изначальна
как подо мною толща этих вод,

где я лежал на туговатой глади,
над пропастью раскинувшись крестом,
и мучился опять, – чего же ради
мы эти сани чёртовы везём?

IV.

Тут что-то ёкнуло и сосны зашумели,
рябь искоса по озеру прошла,
задвигались и зашептались ели
и мысль из головы моей ушла,

мне стало страшно. Тёмное сгустилось.
Ни ветерка, ни всплеска, ни волны.
Я был один. Как сердце колотилось,
когда я выбирался из воды,

подпрыгивал, не попадал в штанину,
как трясся я, как путал сапоги!
А главное, не понимал причину
своей боязни, что за пироги

со мной творятся, превратив в идиота, —
и липкий пот мне спину заливал,
пока в слезах я не облобызал
родной тюрьмы знакомые ворота.

1979

Возвращение 1969

С тяжёлым скрипом подались ворота,
я корпус повернул в пол-оборота
и навсегда окаменела рота,
оставшись на полуденном плацу.
Я не искал с напарниками встречи,
свобода мне обрушилась на плечи
и мимику рождающейся речи
я примерял к открытому лицу.

Тогда весна переходила в лето,
была суббота солнцем разогрета
и над рекой несло от парапета
жарой как в пору ядерной войны.
Вот тут я Бонапартом въехал в город,
но отдохнув, отечественный холод
уже во вторник взял меня за ворот
как имярека у Березины.

Пошли дожди, поехала гражданка,
я спать не мог, я видел фигу танка,
которую показывал полгода
девице с человеческим лицом.
Тоска меня калошами месила,
какой-то дрянью душу заносило
да и снаружи портилась погода,

всё больше отдавая говнецом.

А кореша, – те были милосердны,
меня пытались вылечить от скверны,
мы открывали рыбные консервы
и за бутылкой коротали ночь,
но от хандры почти неотличима,
моя болезнь была неизлечима,
и промычав «ну, бля, и дурачина»,
они под утро сваливали прочь.

Всю осень я шатался по каналам,
крутил ночами одинокий слалом
по переулкам, улицам, вокзалам
и в крепости отсчитывал часы.
Петра и Павла тихая обитель
из темноты, как молчаливый зритель,
глядела в мир и однокрылый мститель
над городом протягивал весы.

Вонзался шпиль в клубящееся небо
и те, кто был, и те, кто больше не был,
разламывались ангелом как хлебы
в единой миске будущего дня.
С весовщиком мы взвешивали строго
добро и зло и тщетно у порога
вопила Родина, – казённая дорога
ждала её и вместе с ней меня.

И, кажется, один из целой роты,
судьбу не матеря за повороты
от всех ворот, я в чистые пустоты
от гимна и до гимна выпадал,
строгал строку, не жаждал воскресенья,
но за простое слово утешенья
весь антураж Господнего творенья
готов был обменять.

Никто не брал.

1979

Так мы живем

I.

а.

Нас очень редко посещает ясность.
Гораздо чаще низкая кислотность
нам помогает сохранить беспечность
под колесом катящейся судьбы.
Есть времени обманчивая плотность, —
мы думаем, что в этом безопасность
и равнодушно смотрим в бесконечность,
а до нее — лишь высота трубы.

б.

Нам часто изменяет угол зренья.
Мы слишком полагаемся на знание,
уверены, что за июлем знойным
нас непременно подберёт зима.
Цыгане исповедуют гаданье,
индусы ожидают превращения,
и только мы единственно достойным
считаем блеск всесильного ума.

в.

Но лето может кончиться в июне
и в небо улетучатся нейроны

и воплотятся в Иоканаана,
почившего Господнего раба...

...так я сквозь пограничные препоны
уйду к чертям на финикийской шхуне
и окажусь на почве Ханаана,
где так земля ничейная груба...

г.

Пыль, пыль и ветер, пыль и синеватый
осколок моря, скалами нагретый,
и берег, сыновьями позабытый,
песок и пыль, обломки и песок.
Коричневый, тугой, шероховатый
путь в глубину, повозками разбитый, —
и берегом, как в финскую одетый,
идёт отец, не подымая ног.

д.

На северном планетном полукружье
жизнь мёртвую и жизнь ещё живую
и всё, что есть, и всё, что было прежде,
сейчас и здесь мы в памяти несём, —
а встретимся на дальнем побережье.
Нам просто надо быть во всеоружье
и принимать окраину чужую
как собственный и неизбежный дом.

е.

Мы уплываем, тёмную завесу
приподнимая: острая заноза
сидит в мозгу обозначеньем мыса,
где я, как остров, обрываюсь в смерть.

Конечно, я секу весь бред вопроса:
ведь в грядке даже зёрнышко маиса
растёт всё по тому же интересу, —
продратся вверх, побыть и помереть.
ё.

Так мы живём, природе подчиняясь,
на Мировой Закон ее надеясь
и продолжая бесконечный путь.
И лишь порой, о Бога спотыкаясь...

II.

а.

Всё глубже дышит осень, всё желтей.
Дожди идут толпой, идут, стучатся
бессонными ночами к нам в дома.
А по утрам уже иных гостей
хрустят шаги по лужам и дробятся.
Уже в предместье, кажется, зима.

И во дворах, как ласточки в неволе,
слепые ветви мечутся впотьмах.
Теперь лишь снег им принесет покой.
Единый путь у нас, единый страх.
Увядающий хлам уносит ветер в поле
и нас как листья тянет за собой.

Так, значит, осень. Бремя-решето
нас пропустило через это лето
в дожди и холода.

Лишь в эту дверь войти разрешено.
Прозрачный колокол в стекло ударил где-то
и стала чёрной нельская вода.

б.

И мы глядим в неё, едва успев начаться.
Всю жизнь потратив, в общем-то, на крик,
и жалуясь на Бога человеку.
Вступаем всё в одну и ту же реку.
Хотим уйти и пробуем остаться,
когда до смерти остаётся миг.

В нас всё разъято, всё разобщено.
Мы снизу кони, сверху полубоги
и неизвестно, чей сильнее цех.
Нам дарят кровь, а мы цедим вино.
Пора вставать, но нас не держат ноги
и как во сне мы падаем навстречу.

А там, там скука не смыкает глаз.
Там целое проглатывает части.
Там ни любовь, ни смерть уже не снятся.
Там не о чем жалеть и нечего бояться.
Там, онемев, теряет жажду власти
родная плоть, воющая в нас.
в.

Тот, кто уплыл, не помнит о причале.
Вода, качаясь, древесину гложет.
Мысль избегает этой пустоты.
Но в чем-то проще наша жизнь, чем может
нам показаться и уже в начале
мы зреем для последней простоты.

Ведут ли нас, идем ли мы вообще,
кто здесь пастух, а кто в ярме воловьем, —
вот игры вечно-юных мудрецов.
Но чуют смысл и преданность вещей,
себя считать всего, что есть, подобьем, —
не это ль нам досталось от отцов?

Возможно, это, если мы мужчины.
Но жизнь свою мы чертим на песке
и этот контур океан смывает.
И лишь в канун последней годовщины,
как Одиссей, попавший к Навсикае,
мы о начале думаем в тоске.

г.

Начало всех начал: в паху и в сердце
мы ощущаем первые толчки
и начинаем выяснять причины.
Жизнь целому дают две половины,
одним лучом в двойном единомверце
решившие соединить зрачки.

Объявлен поиск, но земля мала.

Нам и в любви не достаёт отваги.
Две половинки погибают врозь.
А мы, к судьбе не ощущая тяги,
всё думаем, судьбу пройдя насквозь,
что нас, – но где? – Офелия ждала.

Здесь каждый одинок, как придорожный крест.
В степи журавль колодезный богаче
людскими лицами, чем мы среди людей.
Тиран, предатель, узник, – лицедей, —
на выбор. Мы глядим окрест
и видим вновь, что здесь нельзя иначе.
д.

Так мы живем. Как водится, назло
и вопреки всему, что против жизни,
порою вопреки самим себе
и много чаще вопреки отчизне.
И чтобы жизнь совсем не развезло,
спаси нас, Господи. Ведь всё в Тебе.

И что нам надо, в сущности, для счастья?
Всё наше счастье здесь наперечёт:
земля (мы с нею вместе колобродим),
товарищ (молчаливое участие),
любимая (бывает, что находим)
и Родина, – но тут, как повезёт.

О, хоть бы эхом собственного ритма
заполнить этот Божий стадион.

Но жульничает Бог. Он жмот и жила.
И наша жизнь уже дыхание сбила,
вращая бесконечный марафон.
И в Колизее не слышна молитва.
е.

Но потянуло снегом и ледок
вчера покрыл предутренние лужи.
А утром воздух тихо зазвенел.
И в суете своих обычных дел
я целый день разыскивал исток
звучания, которым был разбужен.

Как странно всё же: осень, не весна,
пора, – что там ни думай, – увяданья
и птицы нас покинули давно,
а я смотрю на улицу в окно
и медленно, как будто бы со сна,
вхожу по пояс в реку ожидания,

по грудь, по шею... Заливает рот
вода надежды. Что за невезенье.
Надежда отбирает столько сил,
что под конец нам изменяет зреньё
и мы в крутой ложимся поворот...
Но честь тому, кто все-таки доплыл.
ё.

Нам свойственно как кошкам выживать,
Нам свойственно всерьёз, не понарошке,
Упасть и снова встать на все четыре.

Симметрия есть в сумасшедшем мире:
Там космос отражает нас в окошке,
А мы должны его вот здесь переживать.

И время нас крадет исподтишка
и ни на миг нельзя назад вернуться.
Вот где лежит весь ужас пустоты.
Но в этом есть основа простоты:
не отдавать ни пяди, ни вершка,
но постараться встать и разогнуться,

оставшись здесь. Здесь остаётся то,
что было в нас и то, что было нами.
Мы остаемся здесь и навсегда.
Ещё висит на вешалке пальто,
а сыновья уже глядят ночами,
как сваи лижет черная вода.

1979

Баллада о встречах

*«Есть между нами некие умы,
Носители местоименья «мы»...*

*(Из стихотворения в газете «Ленинградская правда»
1979 г., осуждающего «групповщину»)*

*Где выходите? – На Желябова¹.
Где выходите? – На Перовской.
Тени милые, где вы бродите?
«На Желябова» – словно жалоба.
«На Перовской» – быстрее воска
Жизнь сгоревшая. – Ну, выходите?..*

Они бродили тою же Невой,
Но кровь иная в жилах шелестела.
И помня «волю», но забыв «покой»,
Они во тьме нащупывали Дело.

Вот комната, – потрескивай, свеча,
Высвечивай нахмуренные лица! —
Вот кто-то речью рубит сгоряча.
Вот девушка – она не горячится.

¹ На Желябова, на Перовской – имеются в виду улица Желябова и улица Перовской в Ленинграде.

Вот, прерывая звучный монолог,
Встаёт с дивана человек упрямый
И на удары разбивая слог,
Он говорит торжественно и прямо:

«Мы молоды и мы не можем ждать.
Идею не внушить высоким словом.
Идею эту можно доказать
Лишь динамитом, порохом и толом.

Мы молоды, нам нет и тридцати.
Но в стариков отчизна превращает.
Где лучшие? Нас меньше двадцати.
Нам молодости время не прощает.

И впредь нам жить на стиснутых зубах,
Чтоб произвол не становился правом,
И выносить на собственных руках
Великую, но тяжкую державу

Из тьмы невежества, из безутешной тьмы
Холопства, суеверия, бессилья.
Есть между нами некие умы,
Готовые погибнуть за Россию...»
[окончание утрачено]

Отец

Ещё не выветрилась память,
но продырявленный насквозь,
он стал неудержимо падать
в ту жизнь, где властвует «авось!»...

Четыре года, – как на праздник
он собирался в каждый день
и в утро, как в чужой заказник,
глядел через ночной плетень.

Четыре года, – ночь за ночью
он подводил итог судьбе,
чтоб не позволить многоточью
расти в оконченном себе.

Но память упиралась в детство,
а жизни стёршийся пунктир
лишь намечался по соседству,
как незнакомый ориентир,

и городок в вишнёвых брызгах
вставал реальнее фронтов, —
подсолнухи (весь двор замызган)
сверкали ярче городов

чужих, ночных и проходящих,
где он любил и воевал, —
но лиц родителей скорбящих
он в темноте не различал

и это было самым страшным
во всей прошедшей молотбе, —
он был мальчишкою вчерашним,
а мать уже была во тьме,

и, протянув худые руки
к ней через изгородь штыков,
как бы в нелепом кинотрюке
он бесконечно падал в ров, —

и снова за сердце хватался,
и, ото всех закрывши дверь,
он в одиночестве сражался
с тем, с чем сражаюсь я теперь.

1979

Разрыв

Шаг в сторону и вечер – как побег.
Навек побег и – Пиррова победа.
И голову мою ласкает снег,
лукавый бог потерянного следа...

А впереди – слепая белизна
полей, где сила не находит место,
и одинокой жизни новизна,
внезапная, как оборона Бреста.

1979

«Меня так мало здесь, – а там и в самом деле...»

Меня так мало здесь, – а там и в самом деле
голландская зима резвится за стеклом,
коньки рисуют круг, поскрипывают ели
и спящая река свернулась подо льдом,

и так бело внизу, и лишь комочек плоти,
живой, единственный, горящий на снегу,
и снова режут глаз коньки на повороте
и расцветает кровь на ледяном лугу, —

а к вечеру замрёт, забьётся, занеможет,
засмотрится в полупрозрачный лед
и в глубину его перетечёт, быть может,
и белый пар промоину зальёт

и снегом прорастут затейливые пряди, —
неутомимых ног дотошная гоньба,
и кончится рассвет в сиреневом окладе
и тоненьким ледком затянется судьба.

«Скорбящая сестра и мать-дева...»

Скорбящая сестра и мать-дева,
две женщины, две горлицы, во тьме
оставшиеся, тело взяв несмело,
несут его, покорные судьбе.

Несут его, как мы несём любимых, —
сквозь царство плоти – в царствие теней,
сквозь череду апостолов ревнивых,
сквозь тишину осиротевших дней.

Сестра и мать, сестра и мать, и больше
нет никого, – ни друга, ни жены,
а в спину им глядят гора и площадь,
молчанием небес окружены...

1980

«Разночинная ересь»

Разночинная ересь.
Дымок папирос горьковатый.
Тепловатый мерзавец,
к нему на закуску конфета.
Да в молчании кашель
и снова басок сипловатый.
За окном то ли ночь,
то ли бестолочь ночью одета.

А у нас разговор.
До утра, до постылой побудки.
Всё о том же:
о судьбах, о смерти, о водке, о воле.
Там страна за окном
нам кивает слепой незабудкой.
Здесь усталые губы
родную житуху мусолят.

Разночинная ересь.
Опять – говорение речи.
Ни основ, ни устоев, ни почвы,
ни грозного неба.
Только шёпот сквозь сон:
человече, скажи, человече,
ты взаправду ли был,

ну а может и вовсе ты не был?

И плывет к потолку
пустотелая куколка слова,
и парит в облаках
папиросного горького дыма,
на отшибе души,
на скате российского крова
небывалые планы...
О жизнь, как ты невосполнима,

как захожены в прах
наши старые стёжки-дорожки...
Разночинная речь.
Ты лишь ересь, а ересь не догма,
потому и сегодня тебя
жовто-блакитные дрожки²
соберут и в ментовку
и дальше, всё дальше от дома...

1980

² В 1980-е гг. милицейские газики в Ленинграде были цвета украинского флага, – желтые с синей каймой посредине, на которой белыми буквами было написано «милиция».

Плач языческой Литвы

I.

Боги костра и дерева,
панове нашей крови,
боги обличья Зверева
с громом сдвигают брови.

Молнией жизнь проверена,
ею светлы дороги,
там, где Литва отмерена,
боги мудры и строги.

Смерти кабанья косточка,
времени волчья стая, —
в небо уходит тропочка,
скрытая меж кустами.

Зимы, снега, скитания,
реки, леса, болота,
учимся выживанию,
слушая вайделота³.

³ Vaideliotas (лит.) – жрец в языческие времена у балтских племен.

II.

Боги воды и берега,
летних гроз,
боги луны и вереска,
чистых рос,

боги дубов и тёмного
зла секир,
боги погоста сонного,
предков мир

да сохраняют! Б памяти
держат речь,
чтоб, неискусен в грамоте,
мог сберечь

малец по избам копотным
слова звук
силою сердца, опытом
слабых рук!

III.

Боги котла и олова,
боги любви-забавы,
боги ужа и борова
на рубежах державы,

прадеды наши, – пасынки
веры чужой и новой.
Жрицы, – орлицы, ластоньки,
с неба упав, подковой

гнутые, после рыцарей
Бога с шестью глазами
приступа, – чья водицею
кровь потекла меж нами?

Чей пролился над Неманом
жизни осенний ливень,
чтобы в Тракай за стенами
нового Бога чтили?

IV.

Боги охот и пастбища,
малых птах,
боги, родное капище —
тлен и прах!

Скачут, чернокрестовы,
звери дня,
белые псы христовы,
псы огня.

Богово имя катится
им вослед.
Слова чужого тянется
чёрный след.

Крепость, — язык над крышами
наших плеч,
стой до конца, услышавши
Божью речь!

V.

Долы, дороги, пажити,
запах сосны и стога.
Родину потом нажили
да проглядели Бога.

Трудятся Божьи плотники
ради души, – не хлеба:
виселицы угольником
меряют наше небо.

Истовый труд и спорится
ради овцы заблудшей, —
тело сжигая, молятся,
чтоб уцелели души!

Рыцарь, купец, ремесленник
наших подворий гости, —
а на задворках песенник
слов подбирает кости.

VI.

Боги вина и голода,
гнутых спин,
наша земля расколота, —
Бог – един.

Бьет матерей бесплодие,
Смерть – сынов.
Тесною стала родина

для богов.

Боги дрожат от холода,
пьют дожди.

Наша душа расколота,
крест в груди!

Наша судьба – заложница
в мире снов.

Боги лежат у звонницы
кучей дров...

1980

«Не видеть бы мне и не слышать...»

Не видеть бы мне и не слышать,
и бедное сердце
совсем исключить из биения нынешней жизни,
и не вымучивать больше ни взгляд, ни кивок, ни коленцо,
просто в глаза посмотреть уходящей отчизне,
просто в молчании с ней, дорогой, попрощаться,
чтоб не винить, не корить
и не клясть напоследок,
и, проводив её в путь, сиротою остаться
в доме, где жить начинал мой исчезнувший предок.

В доме, который Земля,
а не племя, не город,
в доме, где каждый за каждого угол стола занимает,
где на любом языке одинаковы жажда и голод
и одинакова боль,
и жизнь одинаково тает.

Ночью над крышей висит одинокое небо.
Тощие мысли мои, о чем говорить одиноким?
Поговори, отвечают, о том, что когда-то ты не был,
ныне же братом идешь по небесной дороге...

«Дождь стоянкой стал над миром...»

Дождь стоянкой стал над миром,
травы брызжут под ногой,
пахнет дном и перегной
чавкает протухшим сыром,

и весь ливень и весь лес
полны предчувствием знакомым,
распознанием чудес,
каждый раз иным и новым,

предощущением минут
блаженных, не минут, – событий,
вот они, уже идут,
и очумелый от открытий,

теряешь плоть, теряешь дух
теряешь путь к жене и сыну,
и вот ты монстр наполовину
и лишь стихи бормочешь вслух.

Комарове

1981

Ленинградский пейзаж

Иду, глотая ветер на Фонтанке,
и вижу кровь на Инженерном замке
и площадь старую, где был на небо вход,
и всё теперь совсем наоборот,
и дом доходный, что напротив сада,
и сад... Бот порыжевшая ограда
и белый, – в ночь июньскую, – асфальт
и двор-колодец, и поющий альт
на кухне, за стеной, в девичьих пальцах,
проклятый альт взамен иглы и пальцев,
тоскующий, танцующий, зовущий
забыть о ветре, пролитой крови,
о площади, где вместо храма – яма,
о коммуналке в пятом этаже,
где старый друг ебал мою любовь,
и об ограде выцветшего сада,
в котором я играл когда-то в мяч,
и об асфальте... – Ибо все страданья,
все муки, поражения и все
уходы начинались почему-то
на белом, пыльном и сухом асфальте
и во дворах-колодцах... – И, увы,
я снова здесь... – И тихо плачет альт
там снова из окна под самой крышей,
и снова белый, в трещинах асфальт,

и сада вечно ржавая ограда,
и этот страшный дом напротив сада,
и место, где метро теперь и вход,
который никуда не приведёт...

1981

Монолог соседа, старого большевика товарища Каца, во дворе дома по 4-й Советской улице

(В СКОБКАХ – ПРОИЗНЕСЕННОЕ ШЁПОТОМ)

«Я подошел вплотную наконец,
совсем вплотную, даже без зазора,
к тому, что называется конец

(и чуждо нам как тема разговора).
Но Бы тут рядом, да, – и потому,
пока ещё я голосом владею,
я в трех словах... как сыну...

(почему
я третью ночь от мыслей холодею...)

От мыслей, не от страха, – в этом соль.
Какой там страх, когда на вдох – все силы.
И не живот,

(а душу гложет боль, —
что я найду, что встречу за могилой?)

Пора лечь, чувствую, – пора.

И сердце в яму ухает с размаха.
А во дворе играет детвора,
не ведая ни горечи, ни страха,

(а во дворе опять чертополох
вцепился корнем в тощие газоны...)

А что за городом! Б канавах лезет мох,
брусничные одолевая склоны!

Но вот внизу, — кто знает, кто поймёт,
что подо мхом, что под чертополохом?

(Земля и черви, — или узкий вход
на небеса, устроенные Богом?)

Я Вам скажу, — мне в общем все равно,
что пеплом стать, что вырасти травой,

(но вот что жить совсем не суждено,
я понимаю только головою...)

А сердце хочет, —

(друг ты мой, пойми,
как сердце хочет вечного спасенья!
Что если души, бывшие людьми,
на землю сходят в праздник Воскресенья?)

Но я не верю. Не могу. (Хоть плачь.)

Не в том ли смысл труда освобождения,
что никогда Божественный трубач
нам не подаст сигнала к пробуждению?

(Как страшно превращаться в перегнутой,
как тяжело не верить в Бога, Боже!)

А птицы над моею головой...
(уже давно на ангелов похожи...)»

1981

Посещение любимых родителей

Щека сухая,
 неживая,
 на прощанье.

Четыре яблока, клюква в упаковке,
два лимона, уксус... – Надо же,
 откуда?

Глаза, в которых ожиданье чуда
послеинфарктного.
Жизнь всё ещё подобна заготовке.
Жизнь всё ещё сплошное обещанье.
Но

 жизнь
 уже
 сплошное
 об —
 нищанье.

Четыре яблока протягивает мать
для сына сына.

Где ей душу взять?
Чем залатать прореху
в мужестве и чести?

Чем заменить
отказ от крови?
О второе скрученная нить
из вашей нелюбови!

А на потеху, —
как по ржавой жести
крыш крадется полуночный вор, —
пройтись по кухне дребезжащей,
по осколкам детства,
где взрослых страшное наследство,
замученных детишек сор,
невыветанный до сих пор,
во всех углах лежащий...

1981

«Покорная овца...»

Покорная овца,
пасущаяся плоть,
ты тоже дочь Творца,
но молчалив Господь.

Не спишь, жуёшь всю ночь
протухший кислород,
отвергнутая дочь,
гниющий Богов плод.

А утром щель в лице
душа найдет тайком
и воспарит в Отце
бесплотным мотыльком.

И ты – молекул ряд
меж пламенем свечей,
отправишься на склад,
всеобщий и ничей.

Но вечно будет дух,
твой ключик заводной,
искать единство двух,
летая над страной.

«На окраине Бога...»

На окраине Бога,
в глуши галактической, сонной,
пролегает дорога,
обочины, пни, мураши.
Звёзд зелёные вши
в голове копошатся огромной
и Земля лепестком притулилась
у пятки Его сапога.
Но и этот лоскут,
эта тьмутараканская жизнь
нам с тобой дорога.
Пусть наше время погисло,
но скудельный сосуд,
кровеносный, родной, мясокостный,
красногубый и головоострый,
вновь наполнив собой, понесут
хитроглазые дети.
В сквозняковой щели мироздания
снова души на свет прорастут
и пойдут по забытому краю,
по обочине мира пойдут,
по окраине Бога,
где народ позабытый живет,
где ни ада, ни рая, —
просто жизнь от рожденья идёт

да мерцает дорога...

1981

Окраина

Вторая книга стихотворений

1981–1983

Авиационная

утром потоп начался у подножия дома
вздулся фундамент
чрева лоджий провисли
ввалился живот этажей
крыша обмякла
танцующий червь дымохода
в сером просвете взвился
в муть водянистого неба

встали глаза без зрачков
скомканный лоб
оперенье сутаны
смертника длинный наряд
рвущийся в клочья

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.